НАТАЛИЯ КРАВЧЕНКО

дипломант Большой премии Международного конкурса «Серебряный стрелец-2011»

http://silver-book.ru/2011-nominanty/itogi-bolshoj-premii-serebryanyj-strelecz-2011.html

Поэзия не знает дня рожденья. Ещё не воплощённая в словах, она была озвучена гуденьем, журчанием, шептаньем в деревах, небесным громом, рыком динозавров... Заполнив чёрный космоса провал, зародыш поэтического завтра в утробе мира тайно созревал. Из бренной пены, вдохновенной дрожи, выпутывая голос из сетей, она рождалась, тишину корёжа страдальческим мычаньем предлюдей. Теперь уже не вызнать, не исчислить, как чувства, переросшие инстинкт, преображались постепенно в мысли, как те потом перетекали в стих... Добравшись до истоков этой жажды, себя на любопытстве я ловлю: кто, на каком наречии однажды исторг из глотки: «я...тебя...люблю!»? Сквозь хаос ритмов, щебетанье птичье пробилась мука музыки немой. И стало тех слогов косноязычье рождением поэзии самой.

БЛОК

«Ночь, улица, фонарь, аптека» всю жизнь тоску внушали веку, но каждый век, сроднившись с ней, был предыдущего страшней. «О, было б ведомо живущим про мрак и холод дней грядущих», писал нам Блок, ещё не знав, как он до ужаса был прав. Насколько мрак грядущей бездны «перекромешнит» век железный. Метафизический мейнстрим страшилка детская пред ним. Аптеки обернулись в морги и виселицей стал фонарь. И не помог Святой Георгий, не спас страну от пуль и нар. О, если б только знал поэт, когда писал свой стих тоскливый,

что через пять начнётся лет то показалась бы счастливой ему та питерская ночь, фонарь — волшебным, а аптека одна могла б ему помочь смертельной морфия утехой. Никто не знает, отчего скончался Блок... И вдруг пронзило: не от удушья своего и не от музыки вполсилы, он вдруг при свете фонаря увидел будущее наше, все жизни, сгинувшие зря, заваренную веком кашу и ужаснулся этой доле: кромешный мрак, и в нём — ни зги. Он умер в этот миг от боли. Он от прозрения погиб.

нищий

Стоит он, молящий о чуде. Глаза источают беду. Подайте, пожалуйста, люди, на водку, на хлеб и еду! И тянет ладонь через силу, и тупо взирает вокруг. Да кто же подаст тебе, милый? Россия — в лесу этих рук. Я еду в троллейбусе тёплом. Луч солнца играет в окне. Но бьётся, колотится в стёкла: «Подайте, подайте и мне! Подайте мне прежние годы, уплывшие в вечную ночь, подайте надежды, свободы, подайте тоску превозмочь! Подайте опоры, гарантий, спасенья от избранных каст, подайте, подайте, подайте...» Никто. Ничего. Не подаст.

МОИМ СЛУШАТЕЛЯМ

Люди с хорошими лицами, с искренними глазами, вы мне такими близкими стали, не зная сами. Среди сплошной безликости не устаю дивиться: как их судьба ни выкосит — есть они, эти лица!

Вихри планеты кружатся, от крутизны шалея. Думаю часто с ужасом: как же вы уцелели, в этом бездушье выжженном, среди пигмеев, гномов, люди с душой возвышенной, с тягою к неземному? Вечно к вам буду рваться я, в зал, что души бездонней, радоваться овациям дружественных ладоней. И, повлажнев ресницами, веровать до смешного: люди с такими лицами не совершат дурного. Я вас в толпе отыскиваю, от узнаванья млея, я вас в себе оттискиваю, взращиваю, лелею. Если б навеки слиться мне с вами под небесами, люди с хорошими лицами, с искренними глазами...

КОПИЛКА

Дождь. Туман. Заветная строка. Вот мои несметные богатства. Скажешь, что казна невелика? Не спеши выказывать злорадство. Вот сюда внимательно гляди: это чей-то взгляд, запавший в душу. Фраза, что однажды из груди ненароком вырвалась наружу. Вот напиток из полночных муз, голоса любимого оттенок. Я всё это пробую на вкус. Я знаток, гурман, сниматель пенок. Что это? Попробуй назови. Так, пустяк. Души живая клетка. Тайная молекула любви. От сердечных горестей таблетка. Тёплых интонаций нежный след словно ласка бархата по коже. Я им греюсь вот уж сколько лет, он ничуть не старится, такой же. И, скупее рыцарей скупых, от избытка счастья умирая, словно драгоценности скупив, я твои слова перебираю. Скажет пусть какой-нибудь осёл:

ничего же не было, чудило! Но душа-то знает: было всё. Больше: это лучшее, что было. Каждый волен счастье создавать, разработать золотую жилку. Надо только миг не прозевать, подстеречь и — цап! – себе в копилку. Я храню в душе нездешний свет, свежесть бузины и краснотала. И живу безбедно много лет на проценты с этих капиталов. Как алмаз, шлифую бытие, собираю память об умершем. Я — самовладелица. Рантье. Баловень судьбы, миллионерша. Взгляд души и зорок, и остёр. Он — спасенье от тщеты и тлена. Никому не видимый костёр, огонёк мой, очажок вселенной. Что бы там ни уготовил рок – настежь я распахиваю сердце: все, кто беден, болен, одинок, заходи в стихи мои погреться!

О сирень четырёхстопная! О языческий мой пир! В её свежесть пышно-сдобную я впиваюсь, как вампир. Лепесточек пятый прячется, чтоб не съели дураки. И дарит мне это счастьице кисть сиреневой руки. Ах, цветочное пророчество! Как наивен род людской. Вдруг пахнуло одиночеством и грядущею тоской.

Живу под гнётом Вашей немоты, под тяжестью глухого неответа. Но и в обмолвках ненарочным «ты» лежит родства невидимая мета. Не отвечайте — так ещё больней. Я — дерево, что Вам шумит навстречу... Вы — общий знаменатель дел и дней, Вы — русло для моей безбрежной речи. Вы — форма, пограничные тиски для бурной и безудержной стихии. Вы — повод для печали и тоски,

Вы — то, из-за чего пишу стихи я. Я непрестанно думаю о Вас под музыку Божественного гласа, и трачу заповедные слова из неприкосновенного запаса. Вот записи моих последних лет, как бюллетень, история болезни. Всё тот же признак, тот же прежний след. Леченье чем верней, тем бесполезней. Пусть Ваше сердце взято под запрет и боль его не пробует на крепость, и сон моими снами не согрет, пусть это слабость или даже слепость, всем круглым одиночеством луны, всей высью Джомолунгмы и Синая, всей дрожью моря, криком тишины я обнимаю Вас и заклинаю: не променяйте первенства души на чечевицу бытовой похлёбки, не промельчите то, чем дорожим, на ум оглядки, мелочный и робкий. Холодный май черёмухой пропах... Я знаю, все бессонницы когда-то кончаются губами на губах и очной ставкой душ и тел распятых. Всё в мире изменяется, течёт, но неизменен путь высокий, Млечный. Не принимайте же на личный счёт – что на другой направлено, на вечный. Когда же мне придёт черёд не быть и облаком лететь куда-то мимо, я и оттуда буду Вас любить любовью лютой и неутолимой.

Не убивай меня, — шепчу из сказки. Я пригожусь тебе, как серый волк. Пусть все принцессы будут строить глазки, пусть в яствах царских ласк узнаешь толк, пусть Бог тебя хранит и любит плотски, своих даров швыряя дребедень, но чёрный хлеб моей любви сиротской я сберегу тебе на чёрный день

БАЛЛАДА О МЁРТВОЙ ЛЮБВИ

Откуда ты? Ты разве жив ещё? Ещё ты дышишь, ходишь, существуешь? Из зарослей, из памяти трущоб я думала, умершую — живую! ты вытащил. Я снова — как тогда... За гранью лет, веков, родимой речи... И время, словно тёмная вода, несёт, несёт меня к тебе навстречу. Неужто это мы с тобой вдвоём, и прошлое стрелою не пронзает? И то, что мы любить перестаём, с лица земли, как сон, не исчезает? Слова слабели и теряли вес, утрачивая магию былую. И таял жар, покуда не исчез, не сбывшихся меж нами поцелуев. Легка любовь без завтрашнего дня. Легка душа, когда она пустая, как нежить неба, ласкою маня, где звёзды хладнокровные блистают. То был мгновенный обморок любви. Затмение, припадок вдохновенья... А впрочем, как угодно назови, вся нежность мира — в том прикосновенье! Судьба, как леший по лесу, кружит. Она всегда ведёт игру без правил. Великий Зодчий спутал чертежи и по ошибке миражи представил. Рискуя раскроить сердца и лбы, рождались мы мучительно друг в друге. Античное отчаянье судьбы кричало и заламывало руки. О утро, как ты можешь наставать?! Ведь ты бесследно канешь в чёрной пасти. Нам остаётся лишь существовать и никогда не говорить о счастье. Давно погасли звёзды фонарей, и дождь рассвета смыл воспоминанья. О время, будь, пожалуйста, добрей, не дай всему рассеяться в тумане! Прошу, судьба, душе не прекословь! Взгляни: рассвет во тьме зарю купает. И заживо убитая любовь, как жизнь, как кровь, наружу проступает.

Мы как будто плывём и плывём по реке... Сонно вод колыханье. Так, рукою в руке и щекою к щеке, и дыханье к дыханью, мы плывём вдалеке от безумных вестей. Наши сны — как новелла. И качает, как двух беззащитных детей, нас кровать-каравелла. А река далека, а река широка, сонно вод колыханье.

На соседней подушке родная щека и родное дыханье.

Опять наговорила на червонец, ни слова от тебя не утая. Я диск кручу, дурея от бессонниц: ну как ты там, кровиночка моя? Ты спросишь, что я делала? Любила. В календаре вычёркивала дни. Событья и слова тебе копила. Всё подмечала, что тебе сродни. Засыпан город весь осенней медью — сердечки писем в дальние края... Звучит в ночи сквозь бездны и столетья: «Ну как ты там, кровиночка моя?»

Всего лишь жизнь отдать тебе хочу. Пред вечности жерлом не так уж много. Я от себя тебя не отличу, как собственную руку или ногу. Прошу взамен лишь одного: живи. Живи во мне, живи вовне, повсюду! Стихов не буду стряпать о любви, а буду просто стряпать, мыть посуду. Любовь? Но это больше чем. Родство. И даже больше. Магия привычки. Как детства ощущая баловство, в твоих объятий заключусь кавычки. Освобождая сердце от оков, я рву стихи на мелкие кусочки. Как перистые клочья облаков, они летят, легки и худосочны. Прошу, судьба, не мучь и не страши, не потуши неловкими устами. В распахнутом окне моей души стоит любовь с наивными цветами.

Ты умирал на пике декабря.
Зачем мне Бог, не знавший милосердья? И это сердце, бившееся зря, раз не могла отнять тебя у смерти? Часы спешили, учащая бег, и обещая обновленье судеб. А снег летел в грядущее, в тот век, где нас с тобой вдвоём уже не будет.

Любить в прошедшем времени нельзя. Как примириться с этою дырою, в которую всё сыпется, скользя, лишь только человек глаза откроет?! Застыли стрелки в замкнутом кругу. Как будто навсегда заледенели. Я это помнить больше не могу, блуждая здесь среди людей, теней ли. Глазами звёзд глядишь над головой. Стволы дерев — как чей-то мёртвый остов. И сквозь меня могильною травой растут слова, пронизывая остро.

Зову тебя. Ау! – кричу. – Алё! Невыносима тяжесть опозданий, повисших между небом и землёй невыполненных ангельских заданий. Пути Господни, происки планет, всё говорило: не бывает чуда. Огромное и каменное НЕТ тысячекратно множилось повсюду. Ты слышишь, слышишь? Я тебя люблю! – шепчу на неизведанном наречьи, косноязычно, словно во хмелю, и Господу, и Дьяволу переча. Луна звучит высоко нотой си, но ничего под ней уже не светит. О кто-нибудь, помилуй и спаси! Как нет тебя! Как я одна на свете.

Девочка на донышке тарелки. Мама: «Ешь скорей, а то утонет!» Ем взахлёб, пока не станет мелко. К девочке тяну свои ладони... А теперь ты жалуешься, стонешь. Обступили капельницы, грелки. Я боюсь, боюсь, что ты утонешь, как та девочка на дне тарелки. И, как суп тогда черпала ложкой, я твои вычерпываю хвори. Мама, потерпи ещё немножко, я спасу тебя из моря горя! Ты теперь мне маленькая дочка. Улыбнись, как девочка с тарелки... В ту незабываемую ночь я на часах остановила стрелки.

Хоть всё, что есть, поставь на кон, все нити жизни свей, но не перехитрить закон тебе вовек, Орфей. Деревьев-церберов конвой не проведёт туда, и профиль лунный восковой в ответ ни нет, ни да. Рассвет поднимет белый флаг как знак, что всё, он пас, чтоб Тот, кто вечен и всеблаг, не мучил больше нас.

Я знаю, истина в вине. Не в том, что плещется на дне – в неискупаемой, нетленной. Она лежит на дне души. Ей тяжко дышится в тиши. Она олна во всей вселенной. Неутолимая печаль меня терзает по ночам. Кому поведать? Богу? Людям? И я бреду в своём аду и повторяю, как в бреду: «О, как убийственно мы любим!» Ночной звонок: «Алё!Алё!» И мысль безумная мелькнёт: а вдруг твой голос я услышу? Раздастся в дверь тревожный стук, и — сердца вздрог: а вдруг? А вдруг?! Но это дождь стучит по крыше. Плесну в бокал себе вино. Но, словно кровь, оно красно. Мы пьём и пьём хмельное зелье, не понимая, что хмельны не от вина, а от вины, и будет ужасом похмелье. Пройдёт сто лет, сто раз по сто... Ничто не сгладится, ничто! Она навек со мною слита, как горб проклятый за спиной. О, как в сравнении с виной легка и сладостна обида! Вина даётся нам сполна. Её не вычерпать до дна. И каждый день мой ею мечен. Я от неё не излечусь. Я с ней вовек не расплачусь.

Хотя платить уж больше нечем. Я знаю истину: она для понимания трудна, пока не бъёшься в исступленье. Я знаю, что такое Бог. Бог — это боль, что он исторг. И — искупленье, искупленье...

Как завести мне свой волчок, чтоб он жужжал и жил, когда б уже застыл зрачок и кровь ушла из жил? Как превзойти в звучанье нот себя саму суметь, когда окончится завод и обыграет смерть? Как скорость наивысших сфер задать своей юле, чтобы хоть две минуты сверх крутиться на земле?

Нет очевидцев той меня, и значит, не было на свете в ночи сгоревшего огня, что плачет, уходя навеки. И значит, не было в миру той девочки босой, румяной, гонявшей обруч по двору, рыдавшей над письмом Татьяны. Ни старой печки, ни плетня, ни сказочной дремучей чащи, раз нет свидетелей меня тогдашней, прежней, настоящей. Цепь предков, за руки держась, уходит в тёмный студень ночи. Времён распавшаяся связь отъединённость мне пророчит. Протаиваю толщу льда и жадно собираю крохи: мгновенья, месяцы, года, десятилетия, эпохи... Законам физики сродни тот, что открылся мне, как ларчик: чем дальше прошлого огни тем приближённее и ярче. Любовь, босая сирота, блуждает во вселенной зыбкой. В углах обугленного рта

застыла вечная улыбка. Она бредёт во мраке дней, дрожа от холода и глада. Подайте милостыню ей. Она и крохам будет рада.

Всё умерло. И только память прокручивает ленту дней. О, как она умеет ранить, высвечивая, что больней. Оно всегда, всегда со мною – в груди залитое свинцом, твоё прощальное, родное, твоё смертельное лицо. И, равнодушны, как природа, чужие лица плыли прочь, когда ты так бесповоротно, непоправимо канул в ночь. О, если бы какой-то выход, – шальная мысль явилась мне пусть это бред, безумье, прихоть, счастливый лаз в глухой стене, забитый наскоро, небрежно заложенный кривой пролом, куда влетает ангел нежный и аист шелестит крылом... О, если б время заблудилось, споткнулось, сбилось бы с пути, как Божья шалость или милость, и где-то там, в конце пути, в какой-то путанице рейсов вагон забытый, сам не свой, который бы умчал по рельсам туда, где ты ещё живой... И окликают нас могилы, и обступают всё тесней. Я снова слышу голос милый и вижу словно в полусне: бессмертным символом разлуки, весь мир навеки породня, крестов раскинутые руки, которым некого обнять.

Просила ты шампанского в тот день. И это вовсе не было капризом, – судьбе обрыдлой, въевшейся беде бросала ты последний дерзкий вызов.

Пила напиток праздных рандеву через соломинку... Рука дрожала... Соломинка держала на плаву. Но надломилась, но не удержала. Шампанского я век бы не пила. Как жить, тебе не нужной, бесполезной? Ведь ты моей соломинкой была над этой рот разинувшею бездной.

Земля — наш дом, который Бог покинул. Забыло небо цвет свой неземной. Который год, который век уж минул, а всё никак не встретиться с весной. Душа — потёмки, как письмо в конверте, которое не следует читать. Любовь не стоит слов. Не стоит смерти. Страшнее кары эта благодать. Я говорю, как дерево листвою, доверив горло ветру и листу. О неба нищета над головою! Вся жизнь тщета, как выкрик в пустоту! Ужель судьба, душою кровоточа, среди чумы творить свои пиры, и нежность тем давать, кто взять не хочет, и тем дарить, кто оттолкнёт дары?

Под луной ничто не вечно. Светится таинственно неба сумрачное нечто в обрамленье лиственном. А внизу, под сенью крова — дней труды и подвиги. Бурый лист, как туз червовый, мне слетает под ноги. Ночь земле судьбу пророчит, карты звёзд рассыпала... Жизнь живёшь не ту, что хочешь, а какая выпала..

Я в этом мире только случай. Черты случайные сотри. Земля прекрасна, только лучше я буду у неё внутри. Мне всё здесь говорит: умри, — серп месяца, клинок зари, кашне из прочного сукна

и чёрное жерло окна.
Любое лыко — злое лихо — страшит непринятостью мер.
Шекспир подсказывает выход и Вертер подаёт пример.
В спасенье от земного ада так сладко кровью жил истечь.
Задуй свечу. Не надо чада.
Поверь, игра не стоит свеч.
Но вот один глоток любви — и всё мне говорит: живи, — улыбка месяца, весна, душа открытая окна.

САРАТОВУ

Столица самозванная Поволжья, родная грибоедовская глушь, погрязшая в осеннем бездорожье средь неизбывных миргородских луж, где вотчина бессмертных хлестаковых, где громоздится памятников дичь, ну что в тебе, замызганном, такого, чтоб не стремиться никуда опричь? Всё лето без воды. Но рядом Волга. Зимой без света. Но была б свеча. Нелепого непрошенного долга слепая тяга в сердце горяча. Подруга пишет: «Нет прекрасней края. Давайте к нам! Сжигайте корабли!» Но не влечёт меня обитель рая уютно ностальгировать вдали. Там всё стерильно: ни врага, ни друга. Там море мёртво и душа мертва. А здесь дворы с родимою разрухой и круговой порукою родства. И пусть ни злато, ни ума палата не озарит помоечного дна, но здесь душа с рождения крылата и босоногой радостью полна. Я часть твоих окраин и колдобин, твоих оркестров уличных струна. Ты мною утрамбован и удобрен. Я в воздухе твоём растворена. Стыжусь тебя порой, как сын стыдится алкоголичку-мать, бомжа-отца, но не стираю горькие сраницы, они во мне пребудут до конца. И заморозки здесь, и отморозки, за выживанье вечные бои, но светятся застенчиво берёзки и за руки цепляются мои.

Люблю не странною уже — шизофренической любовью — ту, с кем эдем и в шалаше, ту, что мне дорога любою. И эту ширь, и эту грязь, и дуновение миазмов, с чем с детства ощущаешь связь до тошноты, до рвотных спазмов. Но что взамен? Но что взамен вот этой вымерзшей аллейки, родных небес, родных земель, родной кладбищенской скамейки?..

Фетровая шляпка. Узкий ботик. Волосы уложены волной. Мне приснилась бабушкина тётя, никогда не виденная мной, что исчезла навсегда из вида на невесть каком краю земли с именем красивым Ираида, в честь которой маму нарекли. Вот она возникла из тумана – тайны века, призрачные дни... Вынул месяц ножик из кармана и не стало пол моей родни. Где была ты, тётя Ираида, талая вода на киселе, когда нам усатый злобный ирод делал лучше жизнь и веселей? Из глухих соседских недомолвок, из ночного шёпота: «молчи!» выплывал твой образ -зыбок, робок, сгинувший в карлаговской ночи. Смутное, летучее виденье, стрекозиных крылышек слюда... Проскользнула легкокрылой тенью, не оставив ботиком следа. Где твой прах развеян — кто же знает? Муфта, шляпка, валик надо лбом. Чем-то мне тебя напоминает облако в просторе голубом.

Слишком много правды — это больно. Я устала от её лица. От её речей остроугольных,

от её тернового венца.
Пальцы ослабели и разжаться могут от холодного свинца.
Хоть немного лжи — чтоб подержаться.
Чтобы продержаться до конца.

Я себя отстою, отстою у сегодняшней рыночной своры. Если надо — всю ночь простою под небесным всевидящим взором. У беды на краю, на краю... О душа моя, песня, касатка! Я её отстою, отстою от осевшего за день осадка. В шалашовом родимом раю у болезней, у смерти — послушай, я тебя отстою! Отстою эту сердца бессонную службу.

Я люблю тебя всею своей подноготной, всей своей наготой беззащитной, щекотной, всем дрожанием губ и пожарищем щёк, всем сиротством горючих ночей пустотелых, всем немотством речей в своих снах оголтелых, как сто тысяч сестёр не любили ещё. Я люблю тебя... Дай мне продлить это слово, словно чистый глоток ключевой, родниковый, удержать в языке, как старинную ять... Вопреки аксиомам извечных понятий, средь холодных распятий, голодных объятий необъятное снова пытаюсь объять...

Взвалю на чашу левую весов весь хлам впустую прожитых часов, обломки от разбитого корыта, весь кислород, до смерти перекрытый, все двери, что закрыты на засов, вселенское засилье дураков, следы в душе от грязных сапогов, предательства друзей моих заветных, и липкий дёготь клеветы газетной, и верность неотступную врагов. А на другую чашу? Лишь слегка её коснётся тёплая щека,

к которой прижимаюсь еженощно, и так она к земле потянет мощно, что первая — взлетит под облака.

Школьная контрольная. Тщетно — не решу. Но сижу довольная – я стихи пишу! И задачи с тыщами сводятся к нулю... Не сказать, не высчитать, как тебя люблю. Крутит жизнь бессонное пёстрое кино. Марши Мендельсоновы минули давно. Плёнка даром тратится, и в итоге — нуль: я — в домашнем платьице посреди кастрюль. То к тазам со сливою, то — к карандашу, но брожу счастливая – я стихи пишу! Пусть пирог я выброшу, щи пересолю, но зато я выражу, как тебя люблю!

Я всего лишь кустарь-одиночка над огромной страной, где моя одинокая строчка натянулась струной. И по ней — одержимая бесом, чтоб кружило и жгло! Я поэт нетяжёлого веса, но мне так тяжело.

В стихах живу я в полный рост, а в жизни так не смею. Душой тянусь до самых звёзд, а телом не умею. Обломки строф, как корабля — свидетельства крушенья. Не даст ни небо, ни земля мне самоутешенья.

А шар земной — Содом, дурдом, вращается в угаре. Я балансирую с трудом, как девочка на шаре.

ПОПРЫГУНЬЯ

«Вот это облако кричит», — заметил ей художник Рябов. В искусстве разбираясь слабо, она глядит влюблённой бабой, и осень на губах горчит. «Да, это облако кричит», — она кивает головою. Оно кричит, о чём молчит луна в чахоточной ночи, о чём ветра степные воют. Оно кричит, пока он спит, о чём капель по крышам плачет. О чём душа её вопит от первой боли и обид... Она грешна не так — иначе.

У тебя — нерастрата, у меня — недостача. Я плачу по счетам. Всё плачу я и плачу. У одних замуровано сердце в копилке, у других разворовано всё до крупинки. Что больнее? Страшнее? Не знаю, не знаю... Но душа — она тоже живая, мясная. Даже если парите под облаками — я прошу: не берите за крылья руками. Своих судеб рифмуя нескладный подстрочник, я молю: не сломайте душе позвоночник.

Слезится улицы лицо, мигают фонари. Покров дождя на вид свинцов, серебрян изнутри. Так строгий взгляд любовь таит, маня голубизной. Земля, холодная на вид, беременна весной. Чуть тлеет сердца костерок, но в нём — мильоны ватт! И тайный маленький мирок вселенною чреват.

Уроки труда и терпенья опять прогуляла душа. Ей хочется музыки, пенья, лежанья в тени камыша, вниманья к словесному гулу в объятьях полночной звезды. Прошу я у быта отгула и отпуска у суеты. Жизнь сходит на нет, истончаясь, в сраженьях бессмысленных дней, пока мы однажды, отчаясь, не вспомним случайно о Ней. Рассыпались мудрые мысли и лень их собрать в закрома. Житейские доводы скисли пред тем, что превыше ума. И утро, глядевшее хмуро, вдруг вспыхнет, свой сон сокруша. Сияя улыбкой Амура, душа моя, девочка, дура, о как ты сейчас хороша!

На встречу с таинственным Некто опять всю тетрадь изведу. Любви моей летопись — лепту – ничтожную — в Лету вплету. Опять полуночная пытка, души опустевший перрон. Но прибыль растёт от убытка и радостью рдеет урон.

Каждоен слово — словно в перчатках. Как это злит! Чтоб не оставить следа, отпечатка или улик? Что не досказано — после доснится ночью одной. Пленною птицей сердце томится в клетке грудной. Не растопить мне глаз этих льдинки мало тепла. В этом немом и слепом поединке Ваша взяла! Не убиваю то, что в зачатке, и не браню. Я умоляю: снимите перчатки, маску, броню! Приотворите чуточку дверцу

в таинства храм. Дайте увидеть голое сердце – есть ли я там?

Осенний лист упал, целуя землю, деревьев целомудренный стриптиз... И все мы занимаемся не тем ли, в какие мы одежды ни рядись? Я изучаю ремесло печали, её азы читаю по складам, усваиваю медленно детали того, что неподвластно холодам. Того, что неспособны опровергнуть хорал ветров и реквием дождя, того, что учит: если очень скверно, ты улыбнись, навеки уходя. Я приглашаю Вас на жёлтый танец, прощальный вальс в безлиственной тиши. И не пугайтесь, если Вам предстанет во всей красе скелет моей души.

От сиреневой страсти обуглясь, я разбилась на части об угол Ваших губ — несгибаемой складкой... Я останусь кричащей заплаткой Вашей жизни, случайной закладкой. Но мне это не горько, а сладко.

Обезвреживаю Вас, каждый шаг и каждый час. Обезвреживаю мины Ваших глаз и Ваших фраз, чтобы — мимо, чтобы — мимо, а не в сердце, как сейчас.

Вы не такой, как мечталось — не лучше, не хуже – просто иной. Мне показалось, что стало чуть-чуть расстояние уже между Вами и мной. Кажется, скоро оно и совсем растает, и до руки чтоб дотянуться, лишь шага всего не хватает или строки.

Моток из несбывшихся снов и надежд распутаю и размотаю. И вот уже в облаке белых одежд

над сумрачным миром взлетаю. Взлетаю, как голубь бумажный, легко, как к Господу Богу записка. И то, что болело — уже далеко, а всё долгожданное — близко.

Я не расслышала, что Вы сказали — не повторяйте, молю. Чудится эхом в пустующем зале то. что хочу и люблю. Не повторяйте мне истину снова, пусть лучше я обманусь. Пусть мне домнится, доснится то слово, пусть никогда не проснусь! Что Вы сказали?.. Но это неважно. Истина — яд или лёд. Пусть лучше ветер и дождик доскажет и соловей допоёт.

Чучело

Среди подшивок с желтизной, что я листала невнимательно, я не могу забыть одной истории душещипательной. Как краеведческий музей в селе — за неименьем лучшего – в зал выставил — ходи, глазей! фазанье (мужеское) чучело. Но залетела в то село вдруг одинокая фазаниха и стала биться о стекло... В музее наступила паника. Она разбила когти в кровь, стремясь прорваться в зданье душное, чтобы отдать свою любовь возлюбленному равнодушному. Застыли крылья на стекле. От жажды вздрагивало горлышко... Но на мужском его челе в ответ не дрогнуло ни пёрышка. Не в силах это перенесть, она упала там, у здания. ...О женщины! Во всех нас есть частичка глупого, фазаньего. Преданье памяти хранит лицо, что так когда-то мучило. Как билась о его гранит... А это было просто чучело.

Я о тебе давно не плачу, но это помнится до слёз: тот волжский плёс, песок и дача. И сосен шум. И шум берёз. Росою травы набухали и шишки падали в тиши. Благоухая, колыхали речную заводь камыши. А пароход гудел от боли, перекрывая гул берёз. Всё то, что быть могло с тобою, он на борту своём увёз. А я всё помню этот шорох и плеск заливистой волны, и зелень глаз твоих весёлых, неотделимых от весны.

Открыло утро полог голубой. А у меня теперь одно мерило: пространство улыбнулось мне тобой, окликнуло тобой, заговорило. Ты где-то там, в лазоревом краю, но время ничего ещё не стёрло. Дома сжимают улицу твою и мне до боли стискивают горло. Упрямо, в ту же реку, сквозь года к тебе стремиться снами и стихами... О, если б знать тогда, что навсегда твои шаги по лестнице стихали.

Снилось, что стою я у черты, за которой в призрачном тумане проступают милые черты и зовут, и за собою манят. Я кидаюсь к маме, как в бреду, только вид её меня пугает. Что-то на тарелку ей кладу, а она её отодвигает. Почему бледна и холодна? Где её весёлая повадка? Почему безмолвствует она? И гоню ужасную догадку. Я на пальцы мамины дышу, каждый согревая, как росточек, и в смятенье вдруг произношу: «Может быть, шампанского глоточек?» Словно я закинула блесну, замерев над омутом тревожно.

И она, улыбкою блеснув, озорно ответила: «А можно?»

Сон

Мне приснился чудный сон о маме, как мираж обманчивых пустынь. Помню, я стою в какой-то яме средь могил зияющих пустых и ищу, ищу её повсюду... Вижу гроб, похожий на кровать, и в надежде призрачной на чудо начинаю край приоткрывать. А в груди всё радость нарастала, тихим колокольчиком звеня. Боже мой, я столько лет мечтала! Вижу: мама смотрит на меня. Слабенькая и полуживая, но живая! Тянется ко мне. Я бросаюсь к ней и обнимаю, и молю, чтоб это не во сне. Но не истончилась, не исчезла, как обычно, отнятая сном. Я стою на самом крае бездны и кричу в восторге неземном: «Мамочка, я знала, ты дождёшься, ты не сможешь до конца уйти! Что о смерти знаем — это ложь всё, это лишь иной виток пути...» И меж нами не было границы средь небытия и бытия. Ты теперь не будешь больше сниться, ты теперь моя, моя, моя! Я сжимала тёплые запятья, худенькие рёбрышки твои. О, какое это было счастье! Всё изнемогало от любви. Бог ли, дух ли, ангел ли хранитель был причиной этой теплоты, как бы ни звалась её обитель, у неё одно лишь имя — ты. Тучи укрывают твои плечи, ветер гладит волосы у лба. Мама, я иду к тебе навстречу, но добраться — всё ещё слаба. И в слезах я этот сон просила: умоляю, сон, не проходи! Наяву так холодно и сиро. Погоди, родную не кради! И — проснулась... Из окошка вешним воздухом пахнуло надо мной. Я была пропитана нездешним

светом и любовью неземной. Счастье это было всех оттенков, мне на жизнь хватило бы с лихвой. Я взглянула — календарь на стенке. Подсчитала: день сороковой. Плюс четыре долгих лихолетья, как судьба свою вершила месть. Но теперь я знала: есть бессмертье. Мама есть и будущее есть.

Привыкать к стезе земной пробую, смирясь. То, что грезилось весной обернулось в грязь. На душе — следы подошв, слякотная злость. И оплакивает дождь всё, что не сбылось. Тот застенчивый мотив всё во мне звучит, что умолк, не догрустив, в голубой ночи. Что хотел он от меня, от очей и уст, как в былые времена от Марины — куст? Неужели это миф, сон сомкнутых вежд, тот подлунный подлый мир в лоскутах надежд? В предрассветном молоке жизнь прополощу, и проглянет вдалеке то, чего ищу.